

Песнь оавки

Стасия Викбурд

Стасия Викбурд

Песнь мавки

«Автор»

2026

Викбурд С.

Песнь мавки / С. Викбурд — «Автор», 2026

В Прилесье мёртвые не уходят бесследно. Иногда они остаются в железе, в корнях, в голосах тех, кто их любит. Олеся знает цену границе между мирами: много лет назад лес сделал её мавкой — своей хранительницей и голосом. С тех пор она слышит то, чего не слышат живые, и знает главное правило: мертвых нельзя звать по имени. Но однажды в кузнице раздаются три удара. Погибает Мирослав, а вскоре его голос начинает звучать из тумана, колодцев и старого железа. Люба, не способная смириться с потерей, готова открыть любую дверь, лишь бы снова услышать любимого. Только Олеся знает: за голосом Мирослава скрывается не он, а древняя Марена — первая мавка, много лет заточённая между мирами. Чтобы спасти живых, ей придётся войти в мир мёртвых и узнать правду о первой мавке, о цене любви и о том, почему некоторые души нужно не возвращать, а отпустить. Потому что каждое имя может стать ключом. Каждый голос — ловушкой.

© Викбурд С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Гроза, что расколола мир	6
Глава 2. Зов лунного света	8
Глава 3. Дыхание леса	11
Глава 4. Падение с обрыва	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Стасия Викбурд

Песнь мавки

Пролог

Туман стелился по земле, будто сам воздух боялся стать плотным и выдать чьи-то тайны. Олеся стояла босыми ногами на влажной траве — пальцы невольно поджимались от холода, а ступни будто вросли в сырую землю. Она не шевелилась, только чуть наклонила голову, прислушиваясь. Тишина в лесу была не пустой — тяжёлой, как перед грозой, когда небо уже знает, что случится, но ещё не решается сказать.

Лес не спал. Он дышал — скрипел старыми ветвями, шуршал корой, ронял капли росы, и каждая падала в тишину, словно маленькая слеза. Олеся ловила эти звуки, как выученные слова чужого языка. Она знала, что если стоять совсем тихо, лес начнёт говорить. И он говорил — шорохами, вздохами, стонами самой земли, будто скорбел о чём-то, что уже нельзя было исправить. И чем внимательнее она вслушивалась, тем отчётливее понимала: лес помнит всё. Даже то, что она сама старалась забыть.

Иногда среди привычного шелеста возникал другой звук — глухой, мерный. Раз. Пауза. Другой. Третий удар всегда заставлял Олесю резко открыть глаза, будто кто-то дёргал её за плечо. После него лес замирал, прислушиваясь к ответу, которого она не знала. В такие мгновения тишина становилась почти осязаемой — густой, как смола.

Она вспомнила, как когда-то не слышала этого ритма. Тогда она бегала по деревне Прилесье, толкалась локтями с соседскими девчонками, спорила, у кого коса длиннее, и прятала в карман кусок тёплого пирога — чтобы потом тайком поделиться с хромым щенком у колодца. Олеся тогда была просто шумной, упрямой, самой нетерпеливой в доме — дочерью кузнеца и травницы. Мир пах дымом кузницы, горькими настоями матушкиных трав и свежеиспечённым хлебом. Он был простым, понятным, родным. И бесконечно далёким теперь.

Сейчас лес шептал ей вещи, которые никто другой не мог услышать: обрывки старых песен, будто доносившиеся из-под корней, шёпот имён, давно стёртых из людской памяти. Иногда среди этих голосов всё чаще звучало её собственное имя — но не так, как его произносили родители, с любовью и лёгкой укоризной, а так, будто лес уже считал её своей. Граница между «была» и «стала» стиралась.

А в последнее время среди шёпотов всё чаще слышалось другое имя — едва различимое, чужое, словно забытое самой землёй. Олеся не понимала, кому оно принадлежит, но каждый раз после этого в корнях начиналось беспокойное движение, будто земля ворочалась во сне. Она пыталась поймать хоть один знакомый звук из прошлого — хотя бы скрип половиц в родном доме или мамин голос, зовущий ужинать. Но лес не отдавал прошлого. Он только добавлял к нему новые шёпоты, новые тайны, новые обязанности.

Олеся сжала пальцы в кулаки — трава холодила ступни, а в груди нарастала тоска, тяжёлая и вязкая. Она вдруг остро почувствовала, как сильно скучает по тем дням, когда мир был просто миром, а она — просто девочкой, которая прячет пирог для щенка и не боится услышать то, что лучше не слышать вовсе.

И в тот миг, когда тоска стала почти невыносимой, где-то далеко, за пределами её слуха, но прямо в груди, раздался тихий треск — будто тонкая нить, связывавшая её с прежней жизнью, дрогнула. Олеся замерла, задержав дыхание. Лес, будто услышав эту дрожь, ответил шёпотом, в котором не было ни слов, ни обещаний, только одно: «Ты уже не можешь вернуться».

А где-то под землёй снова прозвучали три удара. Только теперь Олеся почувствовала: звук доносился не из леса. Он шёл из-под самой деревни.

Глава 1. Гроза, что расколола мир

Мне тогда было двенадцать — возраст, когда ещё веришь, что всему найдётся объяснение, но уже замечаешь, как земля под подошвами будто шепчет что-то не для людских ушей. Я стояла у опушки и вдруг поняла: тишина больше не тишина. Она натянулась, как тетива, и вот-вот должна была лопнуть.

И она лопнула.

Гроза ударила в старую сосну. Дерево раскололось пополам с таким треском, что камни в русле пересохшего ручья отозвались глухим гулом — будто сами хотели крикнуть: «Не ходи туда!» Воздух в тот миг стал вязким, тяжёлым, словно застывающий мёд. Я втянула его — и тут же закашлялась: каждый вдох давался с усилием, будто сама земля забыла, как дышать.

Я не столько увидела, сколько почувствовала разлом всем телом. В трещине не было ни коры, ни древесины — только глубокая чёрная пустота, а в ней мерцал слабый зелёный свет, как тлеющий уголёк в холодной печи. И из этой пустоты кто-то смотрел. Не на меня — сквозь меня, будто проверял, есть ли во мне то, что можно забрать.

Внутри у меня всё сжалось. Но не от страха. От узнавания. Как будто я всю жизнь ждала этого взгляда и только сейчас поняла, что он наконец пришёл. Я стиснула кулаки так, что ногти впились в ладони, и прошептала в пустоту: «Я здесь». Сама не знаю зачем. Просто не смогла промолчать.

В деревне уже суетились. Старики у крыльца старосты крестились и прятали глаза от темноты, будто она могла схватить за горло.

— Земля не любит, когда её покой тревожат, — бормотал дед Влас, постукивая посохом по доскам крыльца.

— Древние силы просыпаются, — вторил ему соседский кузнец, хмуро глядя в сторону леса.

Женщины шептались, торопливо запахивая платки, и уводили детей в дома.

А я не хотела прятаться. Я слышала, как лес кричит — не голосом, не звуком, а той глухой болью, что отдаётся в груди, как ушиб, только глубже, до самого сердца. И я побежала туда, к расколотой сосне, туда, где тьма казалась почти осязаемой. Я даже протянула руку, будто хотела схватить эту тьму в кулак — и почувствовать, как она шевелится, живая и злая.

Когда я добралась до опушки, там уже никого не было. Только мокрая земля, пахнувшая железом и сырой глиной, и дерево, которое выглядело мёртвым, словно жизнь вытекла из него вместе с соком, оставив пустую оболочку. Я опустилась на колени, не замечая ни грязи, ни холода, и приложила ладонь к коре. Холод тут же пробрался под кожу, но под мёртвой корой что-то билось. Слабо, неровно, как сердце у раненой птицы, что держится на самом краю жизни.

Под моей ладонью что-то отозвалось. Не стуком и не движением — скорее воспоминанием о стуке: три коротких удара, похожих на зов из глубины. На тот самый шёпот, который я потом научилась различать среди ветра и скрипа ветвей.

Тогда я заплакала. Слёзы хлынули сами собой, обжигая щёки, но я даже не вытерла их — просто опустила голову и позволила им капать на землю. И в тот миг воздух будто дрогнул, а тишина стала другой — не пустой, а наполненной чем-то древним и глубоким, будто сама земля сделала первый осторожный вдох после долгого обморока.

Там, где слёзы впитались в землю, на миг проступил тонкий узор, похожий на переплетение корней. Он возник и тут же исчез, будто его никогда и не было. Но лес уже узнал меня. Я почувствовала это не умом, а кожей — как прикосновение чего-то огромного и терпеливого, что теперь будет следить за каждым моим шагом.

Наутро деревня только и говорила о странностях. Дети бегали смотреть на опушку, а взрослые хмуро переглядывались. Трава там выросла вдвое выше, листья на соседних деревьях стали ярче, будто их раскрасили свежей краской. А у расколотой сосны пробился новый побег — тонкий, зелёный, пробившийся прямо из обугленной древесины, словно сама жизнь отказывалась сдаваться.

— К добру ли это? — тихо спросила молодуха у бабки Настасьи, теребя край передника. Бабка только покачала головой и перекрестилась.

Никто не заметил чёрного следа на внутренней стороне расколотого ствола — ровного, будто его оставило раскалённое железо. А я заметила. Пальцем провела по краю этой метки, и холод скользнул по коже, как ледяная капля. И поняла: это не угроза и не обещание. Это просто факт. Теперь между мной и тем, что живёт в пустоте, есть связь.

С тех пор я всё чаще уходила в лес. Сначала тайком, пока родители не видели, потом открыто, не пряча своих шагов. Мать вздыхала, глядя мне вслед, и тихо шептала что-то про травы и обереги. Отец хмурился, но не запрещал: в нашем роду и раньше бывали те, кто «с лесом на короткой ноге». Только раньше это были знахарки да охотники, умевшие читать следы и заговаривать кровь. А со мной было иначе.

Отец особенно часто задерживал взгляд на моих руках. Однажды он даже потянулся, будто хотел взять мою ладонь, но тут же отвёл руку и отвернулся к горну, где угли тихо потрескивали. Ему казалось, что под кожей проступают тонкие зелёные линии, похожие на прожилки листа. Он хотел спросить, что произошло у сосны, но каждый раз отводил глаза — будто боялся услышать правду, которую не сможет ни понять, ни принять.

А я не читала следов. Я слушала. Слышала, как корни шепчутся под землёй, как ветер пересказывает деревьям старые сказки, как тишина между звуками хранит свои собственные тайны. И с каждым днём эти шёпоты становились всё громче, а граница между тем, что можно, и тем, чего нельзя, всё тоныше, словно кто-то осторожно подтачивал её невидимым ножом.

Иногда мне казалось, что вместе с лесом я слышу ещё один мир — холодный, далёкий и пустой. Он не говорил со мной словами. Он просто ждал. И я знала: однажды он позовёт меня по имени — и я не смогу не пойти.

Глава 2. Зов лунного света

К шестнадцати годам я уже не пыталась прятать то, как лес шепчет мне по ночам. Но в ту Иванову ночь он не шептал — он звал. Голос леса сплетался с треском костров и девичьим смехом так плотно, что воздух будто густел, и становилось трудно дышать.

Я стояла у огня, стискивая край юбки, и чувствовала, как внутри натягивается струна — тонкая, звенящая, готовая лопнуть от любого прикосновения. Пламя бросало на моё лицо неровные тени, и в их пляске я видела не себя, а кого-то другого: будто под моей кожей шевелилось что-то лесное, нетерпеливое, древнее. Сердце билось в такт треску веток, и каждый удар отдавался где-то глубоко под землёй, в самых старых корнях, будто лес проверял: «Ты ещё со мной?»

Внезапно один из костров качнулся, хотя ветра не было. Пламя вытянулось в сторону леса, словно невидимая рука потянула его за собой. Я замерла, задержав дыхание. Это не случайность. Это знак.

А потом я увидела нити. Тонкие, мерцающие, будто сплетённые из лунного света, они тянулись от земли к ветвям, соединяя деревья между собой, как невидимые жилы, по которым текла сама жизнь леса. Они пульсировали в такт дыханию ночи — то разгораясь ярче, то почти исчезая, словно стыдясь собственной красоты. Лес снова стонал, но теперь это был не крик боли, а зов, тихий и настойчивый, как шёпот того, кто долго ждал.

Среди этого мягкого свечения я заметила тёмный провал — место, где лунный свет не мог пробиться. Там, в глубине леса, нити обрывались, будто кто-то перерезал их острым ножом. От этой пустоты веяло не просто холодом, а чем-то чужим, будто там граница мира истончалась до прозрачности.

Не раздумывая, я шагнула в темноту. Земля под ногами становилась мягче, будто сама приглашала меня идти дальше. Тени сплетались в узоры, которые я вдруг начала понимать, как читают знакомые слова. Один из них напоминал трещину на старой сосне, другой — круг, расколотый ровно посередине. От одного взгляда на них у меня перехватило дыхание, будто эти знаки знали обо мне больше, чем я сама.

На поляне меня ждала старуха. Её платье казалось сотканным из мха и листьев, будто она выросла из самой земли. Лицо было старым, изборождённым морщинами, как кора векового дуба, но глаза — молодыми, яркими, как у птицы, только что взмывшей в небо. В них плескался свет, который не принадлежал ни луне, ни звёздам, ни даже самой земле.

— Ты слышишь, — сказала она, и голос её звучал так, будто шёл не из горла, а из самой глубины, где спят древние силы. — Ты слышишь, как он дышит. Значит, ты готова.

— Кто? — прошептала я, и мой голос растворился в ночной тишине, не оставив даже ряби.

— Лес, — ответила старуха. — Он ищет того, кто станет его голосом. Его руками. Его слезами и его смехом.

Она произнесла это, но посмотрела не на деревья, а куда-то за моё левое плечо — туда, где тьма была особенно густой. Будто слушала не только лес.

Я хотела сказать, что я просто девочка из деревни, что мне нужно вернуться к костру, к подругам, к пирогам и смешным историям, которые мы шептались друг другу на ухо. Слова уже поднялись к горлу, тяжёлые и неповоротливые, но застряли там, не сумев вырваться. Потому что в этот момент я поняла: я уже не просто девочка. Я — часть чего-то большего, древнего, вечного. И отказ прозвучал бы сейчас как ложь.

Старуха протянула руку. На её ладони лежал маленький зелёный листок, будто светящийся изнутри, словно в нём спрятали кусочек рассвета. Края его были неровными, будто он сам отделился от ветки, решив, что пришло его время.

— Возьми, — сказала она. — И скажи «да».

— А если я скажу «нет»? — спросила я.

Старуха впервые отвела взгляд. Пауза повисла между нами, густая, как туман над рекой на рассвете.

— Тогда лес всё равно услышит тебя. Но уже не как дочь.

Я взяла листок. Пальцы едва коснулись его, но по коже пробежал лёгкий холодок, будто сама природа прошептала мне что-то на ухо, и это «что-то» было древнее любых слов. Я сжала листок в кулаке, чувствуя, как тонкая жилка листа чуть царапает кожу, и прошептала:

— Да.

Мир не перевернулся в ту секунду. Не грянул гром, не вспыхнули небеса. Просто лес вздохнул — глубоко, спокойно, как человек, который наконец-то нашёл того, кто его поймёт, и теперь мог позволить себе расслабиться. В этом вздохе было столько облегчения, что у меня на мгновение сжалось сердце от чужой, но такой близкой боли.

Затем из глубины леса донёсся тихий, почти неслышимый звук — три удара по железу. И я почувствовала, как моя кожа становится тоньше, будто сквозь неё проступает что-то древнее, прохладное, живое. Как мои слёзы превращаются в росу, оседающую на траве ранним утром, а смех — в шелест листвы, играющей с ветром. Как моя боль отзывается в каждом раненом дереве, а радость — в каждом распустившемся цветке. Между мной и лесом протянулась невидимая нить, и теперь нельзя было сказать, где кончаюсь я и начинается он.

В ту ночь я стала мавкой — хранительницей, той, кто держит равновесие между жизнью и смертью, между людьми и лесом, между светом и тенью. И в эту секунду я вдруг поняла, что слово «стала» здесь не совсем верно: я всегда была ею, просто долго притворялась девочкой, чтобы не пугать родителей и не пугаться самой.

Но вместе с силой в меня вошло и другое чувство — чьё-то далёкое ожидание. Будто не только лес ждал моего согласия.

Когда я вернулась в деревню на рассвете, меня не узнали. Или сделали вид, что не узнали. Кто-то отводил глаза, кто-то крестился, кто-то шептал: «Это уже не наша Олеся». А я просто стояла и смотрела на знакомые дома, на колодец, на тропинку, по которой бегала в детстве, и понимала: я всё та же. Просто теперь моё сердце билось в такт с лесом, и этот ритм был слышен только мне — и самому лесу.

Мать вышла из дома, не успев даже повязать платок. Она обняла меня молча, крепко, так, что кости хрустнули, и заплакала, не говоря ни слова. В её слезах не было упрёка — только страх за дочь, гордость за её силу и горе от того, что детство ушло навсегда.

Отец стоял у порога кузницы, держа в руке клещи, будто забыл, зачем их взял. Потом медленно положил их на край наковальни, где металл тихо звякнул, и подошёл ко мне. Он положил руку мне на плечо и сказал только:

— Береги себя.

Он произнёс это слишком быстро, словно боялся сказать что-то другое. А потом посмотрел на зелёный листок в моей руке и побледнел.

В этих словах не было ни наставлений, ни запретов, ни попыток удержать. Только признание: мой путь теперь другой, и он его видит.

После той ночи прошло не несколько лет — целая жизнь.

Сначала я всё ещё пыталась оставаться прежней Олесей. Возвращалась в деревню, помогала матери сушить травы, перебирала пучки зверобоя и чабреца, вдыхала их горьковатый запах и заставляла себя улыбаться. Сидела у отцовской кузницы и заставляла себя смеяться над обычными шутками. Но люди менялись быстрее меня.

Девушки, с которыми я когда-то бегала к реке, выходили замуж. У них появлялись дети, потом седые пряди и взрослые дочери, похожие на них самих в юности. А я оставалась такой же, как в ночь посвящения.

Поначалу это пугало меня. Потом злило. Затем стало стыдно.

Я завидовала людям за их короткую жизнь. Они могли ошибаться, мириться, торопиться, стареть. Их выборы имели конец. Мои решения возвращались ко мне снова и снова — через годы, через чужие голоса, через шёпот корней.

Я долго думала, что бессмертие — это свобода от времени.

Оказалось, что это память без права забыть.

За эти годы я научилась различать голоса леса и голоса мёртвых, удерживать границу во время паводков, отводить огонь от деревни и не отвечать на зов из-под земли. Я научилась уходить до того, как люди начинали бояться моего лица, и возвращаться до того, как страх превращался в ненависть.

Но главное я поняла не сразу: быть мавкой — не значит перестать быть человеком.

Это значит каждый день выбирать, что в тебе останется человеческим.

Глава 3. Дыхание леса

Я прожила достаточно зим, чтобы перестать ждать возвращения прежней Олеси. Родителей давно не было в живых. Дом, где пахло матушкиными травами и отцовским железом, перешёл к чужим людям. Однажды я подошла к калитке и постояла, прислушиваясь к тишине за забором. Ничего знакомого не осталось — только старый скворечник косо висел на ветке, будто забыл, что давно пуст. От детства остались лишь отдельные запахи, обрывки голосов и память о пироге, который я когда-то прятала для хромого щенка.

Прилесье тоже менялось. Одни люди умирали, другие рождались, третьи успевали забыть, что когда-то видели меня ребёнком. Я оставалась на границе — неизменная с виду, но всё более чужая самой себе. Иногда, проходя мимо знакомых дворов, я замечала, как старуха у колодца вздрагивала и торопливо крестилась, а мальчишка, что раньше бегал за мной следом, теперь отводил глаза и прижимался к материнной юбке.

Дни теперь не делились для меня на хорошие и плохие — только на те, когда лес дышал свободно, и те, когда ему было больно. И эта боль приходила не как чужой шёпот, а как своя собственная: прокатывалась по спине ледяным потоком, сжимала грудь, отзывалась в каждой жилке под кожей.

Я давно перестала быть просто Олесей из деревни. Стоя у старого дуба, я иногда чувствовала, как кора чуть подрагивает под моей ладонью, будто дерево пытается что-то сказать. Мои слёзы оседали росой на траве до рассвета, мой смех звучал как лёгкий шелест листвы, а моя боль отдавалась в каждом раненом дереве — в треснувшей коре, в опавших ветвях, в молчаливом стоне корней, уходящих глубоко в тёмную землю.

Со временем я научилась слышать то, что другим не дано. Тихий плач молодой берёзки, обожжённой молнией. Тяжёлый, сдавленный вздох старого дуба, чьи корни оплели камень и теперь не могли расти дальше. Даже сухая ветка, упавшая с дерева, говорила со мной на своём скрипучем языке: я наклонялась, поднимала её, проводила пальцами по шершавой поверхности и слышала, как она рассказывает, как ей было холодно зимой и как она устала держаться. Лес шептал мне обо всём: о каждой царапине на коре, о каждом сломанном побеге, о каждой капле сока, выступившей на ране.

Но порой среди этих голосов возникал звук, которому не было места в лесу. Он напоминал скрежет железа о камень — холодный, чужеродный, будто кто-то царапал саму суть земли. После него птицы умолкали, звери прятались, а на коре деревьев проступали тёмные линии, похожие на ожоги. Воздух становился тяжёлым, словно в него просачивалась чужая воля, и лес напрягался, будто узнавал этот звук. Особенно тревожил меня звон кузнечного молота, доносившийся из деревни. Каждый его удар отдавался во мне не просто эхом — казалось, он отбивает чьё-то имя, рвёт тонкую нить, которую никто, кроме леса, не слышит.

Когда над Прилесьем нависала засуха, я уходила в самую глушь — туда, где земля помнила времена, когда людей ещё не было, а лес стоял сплошной стеной до самого горизонта. Садилась у родника, закрывала глаза и шептала старые слова. Не заклинания, не молитвы — просто просьбы, сказанные так тихо, что их слышал только лес. Пальцы я опускала в ледяную воду, чувствуя, как холод забирается под кожу, а воздух тяжелел от влаги. Над полянами начинал стелиться туман, будто сама земля выдыхала спрятанную воду. Роса ложилась на листья густым серебром, и лес вздыхал с облегчением.

А когда приходил огонь — дикий, жадный, пожирающий всё на своём пути, — я шла навстречу пламени. Не с ведром воды и не с лопатой, а с голосом, ставшим низким и твёрдым, как стук сердца векового дерева. Я звала дождь, просила ветер сменить направление, уговаривала деревья стоять крепко, будто они были моими братьями и сёстрами, а я — их старшей сестрой, которая не даст им сгореть. И лес слушал.

Иногда победа давалась тяжело. После таких ночей я возвращалась на опушку, садилась на поваленное бревно и долго смотрела, как светлеет небо. На моих руках оставались тонкие шрамы, похожие на узоры из прожилок листа, а в волосах надолго застревал запах гари. С каждым годом шрамы становились заметнее, медленно темнели, складываясь в тот же узор, что однажды возник на расколотой сосне. Я проводила по ним пальцем, чувствуя, как по коже бегут мурашки, будто сам узор начинал шептать что-то, чего я не хотела слышать. Это была моя плата за то, что лес продолжал жить.

Люди почти ничего не знали. Они видели, как после моего ухода над лесом собирались тучи, как трава становилась гуще, а цветы — ярче. Видели, как дикие звери не убегали при моём появлении, а замирали, будто прислушиваясь, и потом шли за мной, как за вожаком. Но объяснить это они не могли, а потому предпочитали молчать или шептаться за спиной. В Прилесье к таким вещам относились настороженно: если лес принимает человека, значит, человек уже не совсем свой.

Я часто приходила на опушку и долго смотрела на деревню: на дым из труб, на узкие тропинки, протоптанные между домами. Однажды я даже подобрала с земли забытый кем-то лоскут ткани, потеряла его между пальцами и вдохнула слабый запах печного дыма и хлеба. Мне хотелось подойти ближе, посидеть у чужого костра, послушать, как люди смеются над простыми вещами, и рассказать им, что лес тоже умеет смеяться — только его смех звучит как шелест дождя по листьям. Но каждый раз я останавливалась на границе, где трава была чуть выше, а воздух — чуть прохладнее, и понимала: я уже не смогу быть одной из них. Мой дом теперь был там, где деревья шептали мне на ухо свои секреты, где корни сплетались под землёй в невидимые сети, и где тишина была не пустотой, а наполненной жизнью паузой между вдохом и выдохом.

Тяжелее всего была не сила, не боль и даже не одиночество. Тяжелее была цена равновесия. Старуха, встретившая меня на Купальской поляне, однажды сказала шёпотом, от которого у меня похолодели пальцы: «Равновесие — это не покой. Это постоянный выбор между тем, чтобы спасти одного и потерять многих». Я тогда сжала кулаки так, что ногти впились в ладони, но не произнесла ни слова.

— Запомни, — говорила старуха, когда я пыталась спорить с этим законом. — Лес не всегда просит спасти. Иногда он просит выбрать, кого оставить...

В тот день небо затянуло серой пеленой, а воздух стал тяжёлым и неподвижным, будто мир затаил дыхание. Я почувствовала, как лес напрягся, словно зверь перед прыжком. Что-то надвигалось. Не буря, не пожар — а что-то гораздо более личное и острое: человеческая беда, способная вонзиться в лес, как заноза, и начать гнить изнутри.

Я стояла на опушке, вдыхая этот густой, тревожный воздух, и ждала. И лес ждал вместе со мной, затаив дыхание.

Где-то далеко, в стороне деревни, трижды глухо ударил молот. И я почувствовала ответ не в корнях, не в земле, а прямо в собственной груди — как три коротких удара, отзывавшихся в сердце. Холод прокатился по спине, и в голове мелькнуло: это не к добру. Совсем не к добру. И впервые мне стало страшно не за лес, а за то, что сейчас начнётся — и что мне придётся выбирать.

Глава 4. Падение с обрыва

Утро выдалось обманчиво тихим — будто мир нарочно надел маску покоя, чтобы скрыть надвигающуюся беду. Туман стелился над лугами, скрывая тропы и делая привычные места чужими. Он цеплялся за ветки, оседал каплями на траве, и даже знакомые очертания домов казались зыбкими, будто нарисованными на мокром холсте. Кто-то накинул на деревню покрывало из серой ваты — и под ним всё стало ненастоящим.

В кузнице уже стучал молот.

Мирослав всегда вставал до рассвета. Он любил этот час, когда мир ещё спал, а огонь в горне казался единственным живым существом, которое его понимало. Кузнец словно разговаривал с металлом: вытягивал из него суть и придавал форму тому, что прежде было лишь бесформенной тяжестью. Он знал: если прислушаться, железо шепчет, где в нём прячется слабость, а где — сила.

Но в это утро ритм ударов был иным.

Обычно Мирослав ковал ровно и размеренно, будто выговаривал каждую ноту старой песни. Сегодня молот бил резко, торопливо, словно кузнец пытался успеть до того, как закончится время. Или будто металл сопротивлялся ему, не желал принимать форму, и Мирослав боролся с ним, стиснув зубы так, что на скулах вздувались жилы.

Люба пришла к кузнице ещё до того, как небо окончательно посветлело. В руках она несла узелок с тёплыми лепёшками и крынку молока. Ткань узелка была протёрта на сгибах — она брала его каждое утро. Она всегда приносила ему завтрак, а он улыбался и говорил, что с её едой даже железо становится мягче.

Сегодня Люба остановилась у приоткрытой двери, слушала знакомый ритм ударов и улыбалась. Внутри всё теплее становилось от одной мысли: вот сейчас он повернётся, вытрет руки о фартук, возьмёт лепёшку и скажет что-нибудь простое, но такое нужное:

— Спасибо, свет мой.

Она уже собиралась войти, когда внутри что-то резко звякнуло. Звук напоминал падение тяжёлого железного круга — глухой и тяжёлый, будто сам металл вдруг стал чужим и враждебным.

Затем наступила тишина.

Не та уютная тишина, в которой огонь тихо шепчет в горне, а мёртвая, пустая, когда даже воздух будто застывает. Люба почувствовала, как холод пробирается под платок, стягивает кожу на затылке.

Она вошла внутрь.

Мирослава в кузнице не оказалось. Только угли тихо тлели, а в воздухе витал запах раскалённого металла, смешанный с чем-то горьким, похожим на предчувствие. Люба постояла, прислушиваясь, потом тихо позвала:

— Мирослав?

Тишина ответила ей. От этого ответа по спине пробежал холодок, которого не должно было быть в тёплом, привычном месте.

На наковальне лежал тёмный металлический осколок. Люба не знала, откуда он взялся, но рядом с ним угли горели зеленоватым пламенем — странным и неестественным, словно в них попала чужая искра. Она протянула руку, пальцы дрогнули в сантиметре от металла. И не успела коснуться.

Из глубины кузницы донёсся едва слышный шёпот — тихий и холодный, как сквозняк из щели:

— Позови его...

Люба отшатнулась, прижав ладонь к груди, будто хотела удержать сердце на месте. Шёпот исчез, оставив после себя только запах железа.

Она обошла кузницу, заглянула за сарай, пробежала по тропинке к реке. Звала Мирослава всё громче, и голос её, сначала мягкий и ласковый, становился всё выше, пока не превратился в крик, острый, как лезвие:

— Мирослав!

Кто-то из соседей вышел на порог и тревожно посмотрел на неё, но не успел ничего сказать. Люба уже неслась дальше — к обрыву. Сердце подсказывало ей именно туда, куда нельзя было идти, где туман лежал особенно густо, а земля обрывалась вниз.

Когда Люба добежала до края и сквозь серую пелену увидела то, что лежало внизу, мир для неё раскололся. Он не просто рассыпался на куски — стал чужим, холодным и неправильным.

Люба упала на колени прямо на сырую землю, не чувствуя, как острые камешки впиваются в кожу. Она кричала, но голос уже не был похож на человеческий. Это был звук, вырвавшийся из самой глубины — из того места, где пряталась вся её надежда, вся будущая жизнь, сшитая из простых радостей: запаха горячего хлеба, стука молота, его улыбки и сарафана цвета мёда, который так и остался лежать в сундуке.

— Нет! — кричала она, и крик разбивался о скалы и возвращался пустым эхом. — Нет, неправда! Это шутка! Мирослав, встань! Встань, прошу тебя!

Она хотела броситься вниз, к нему, схватить его, встряхнуть, заставить открыть глаза. Заставить снова стать тем, кем он был ещё минуту назад, — живым, тёплым, смеющимся. Её тянуло туда, в бездну, как тянет к тому, что больше всего любишь и что вдруг стало недостижимым.

Кто-то из подбежавших мужчин удержал её, обхватил за плечи и прижал к себе, чтобы она не сорвалась. Люба вырывалась, царапалась, кричала. Слёзы лились так обильно, что смешивались с росой на траве, делая её ещё холоднее.

— Пустите! — рыдала она, задыхаясь и глотая воздух, который вдруг стал колючим и горьким. — Я должна к нему! Он просто спит! Просто ударился! Он сейчас встанет!

Но никто не мог ей этого пообещать. Никто не мог сказать: «Да, он встанет», потому что правда уже лежала внизу — среди камней и пены. Её нельзя было спрятать и нельзя было отменить.

Когда мужчины подняли тело Мирослава, один из них тихо пробормотал, наклонившись: — Глянь... на ладони.

На его ладони темнел след, похожий на ожог от раскалённого железа. Но это был не обычный ожог. Казалось, по коже прошёлся не огонь, а сама холодная сущность металла, оставив узор, напоминающий переплетение корней. Кто-то перекрестился, не поднимая глаз.

Постепенно крики перешли в хриплые всхлипы, а затем и вовсе стихли. Наступила такая тяжёлая тишина, что она давила на грудь и мешала дышать.

Люба сидела на земле, обхватив себя за плечи, и качалась из стороны в сторону, будто пыталась убаюкать ту часть себя, которая всё ещё не верила в случившееся. Её пальцы сжимали клочок травы. Она не замечала, как ломаются травинки, как земля пачкает руки, как волосы облепляют мокрое лицо.

— Это неправда, — шептала она снова и снова, уже не крича, а словно уговаривая себя поверить в чудо, которого не могло быть. — Это неправда. Он сейчас придёт. Он просто задержался.

В тумане за её спиной кто-то тихо произнёс:

— Если позовёшь, он услышит.

Люба резко обернулась.

Но там никого не было.

Только туман, камни и тонкий след босых ног, исчезающий у самой кромки обрыва.

Олеся почувствовала беду ещё до того, как весть дошла до опушки.

Лес вздрогнул, словно от удара. В этом дрожании было столько боли, что у неё перехватило дыхание. Олеся стояла под старым дубом, слушала, как ветер шевелит листья, и думала о том, как странно устроена жизнь: одно мгновение — и всё меняется.

Мирослав больше не будет ковать ключи и видеть миры в огне. Люба никогда не наденет свой любимый сарафан. А лес будет помнить их обоих — как помнит всё, что когда-либо жило и страдало на его земле.

Но лес уже шептал ей: смерть Мирослава была неправильной. В ней оставался след чужой воли — холодный, железный и терпеливый, будто кто-то перекроил мгновение и выдернул кузнеца из его судьбы. Олеся чувствовала это не как мысль, а как холод, ползущий по коже, и тяжесть, оседающую в груди. Она прижала ладонь к коре дуба, будто просила дерево удержать её на месте, не дать упасть.

А затем в глубине деревни снова ударил молот.

Раз. Другой. Третий.

Олеся подняла голову. Знала, что Мирослав мёртв.

Но кто-то продолжал ковать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.